И стою перед небом, куда бы под ним ни пошёл И какую бы му́ку себе ни сыскали бы руки. Там, в саду, предо мной заплетает гудение пчёл В шёпот ласковых трав и в свечение глаз близоруких Тот, кто эти глаза всяким утром целует в рассвет, А незрячим птенцам отсыпает не сытного хлеба, А несытного слова, в котором ни времени нет, Ни смертей, окромя той одной, что просторна, как небо.

Весной из окна можно выйти в сиреневый цвет, Уткнуться в него, но не плотью, излюбленной тленом, А тем невесомым, которому имени нет, Что губы целует, но сходит с них неизреченным. И тем—обнажённым, не знающим кожи и слёз, Взыскующим света, как страждущий хлеба над хлебом,—Почти не дышать над цветеньем сиреневых кос, Из них выплетая хлопчатое белое небо.

Мне черёмуха цветом сегодня так громко бела, Что с бесценной монеткой рука замирает над кружкой, И я миг отпускаю, как будто бы час подала Ничего не просящей, не милостивой побирушке. Да и что ей просить? Всё, что смертно,—её в перечёт, И мой миг для неё—суета в суете, безделушка. Как же звонко черёмуха нынче меж нами цветёт! Как же быстро сегодня монетками полнится кружка.

В придорожном кафе на салфетке Карандашный набросок зимы: Снег оттенка берёзовой ветки, Гомонья воробьёв-горемык. Не идёт, не летит, не ложится Заключённый в графитовом сне, С ним уже ничего не случится Ни сейчас, ни потом по весне. Как же страшно, как, Господи, страшно—Белый листик на весь окоём И, как в зеркале, в снеге бумажном Отражение видеть своё.

В горло поцелована бедой Самая любимая из дочек. Беспрестанно ноги кровоточат В башмаках, подаренных Тобой. В голове и жар, и полынья, Крещена полынью и крапивой. Где, скажи, такой набраться силы, Чтоб легка была любовь Твоя? Кружит колесо привычных дней, Где в одно ребро впились все спицы, Пью и не могу никак напиться Из ладоней милости Твоей. Обожжённым горлом говорю, И ответом, что меня Ты слышишь, Утром солнце алым красит крыши И приводит новую зарю.

Над водой ходит та же вода, Небо—та же река наизнанку, И зимуют в ней звёзды-подранки, Приручённые голосом льда. Страшен он, обращённый в себя, Словно невозвращённое эхо. И река покрывается снегом, И стоит заметённой изба С одиноким, как Бог, человеком.

Ночь, и будто ниже ростом Небо, гулко пахнет тьмой. Ходит ангел по погосту, По надгробиям рукой Водит. Старый ворон эхом Оглашает за версту: «Человек! Идёт по снегу!» Человек идёт по снегу И уходит в высоту.

Коротких снов непойманное имя Больной окликнет, и его мольба Тотчас достигнет той, что с ним незримо Уже лежит. Но и её волшба Не излечима миром, где слепые, Мы трогаем себя, как вещество, А умершие, будто бы живые, Колядовать приходят в Рождество. И говорят: вот мы. Мы тоже были, Мы то, что с вами было и прошло, Мы то, что с вами будет. И бессильно Не дышат на замёрзшее стекло.

Там, где была деревня,—суховей Проходит сквозь заброшенные срубы, Сочатся краской треснувшие губы С иконы у распахнутых дверей. И птицы плачут: «Чьё все это? Чьё?» Замшелые колокола на башне Молчат и смотрят в лес над бывшей пашней. А губы шепчут им в ответ: «Моё». Но как же страшно шепчут. Как же страшно.

Я видел смуглые черты. В бреду. Клянусь, его я счёл бы адом, Когда бы верил, что в аду Так дивно может веять садом С его вечерней тишиной, С белёсым яблоневым цветом. Нет. То был рай. Но предо мной Горячим порожденьем бреда Не белым ладилось крыло, А кто-то смуглый, мне мерещась, Стоял. И ветер тяжело Вздыхал, взирая, как трепещет Листок, им сорванный, за миг Лишившийся привычной тверди Упругой ветви. Прятал крик Я в своём горле. Старше смерти Был гость мой. Или я ему Был гость в его тысячелетьях. И воспалённому уму, Зажатому земною клетью, То грезил рай, то мнился ад, То снился лист, лишённый ветви И сада, где горит закат, Где сладко спят слепые дети. И у детей Его черты.

О ветер, те сады пусты.

Иной косе на две не расплетаться. Льняное небо, ссученное в нить, Веретено да прялка—всё богатство, И что той жизни — только прясть и шить Из луговой пылающей кудели, Иссохшей от невыплаканных слёз, Из перьев птиц, которые не пели Обещанного. А оно сбылось, И дом стоит по четвергу обмытый, Белеют в окнах голоса свечи На убывание, и рушники пошиты Для тех, кто в дом приходит и молчит— И жадно смотрит в сердце нараспашку, Где скачет, вертится веретено— Бессмертно, чтоб хватило на рубашку, В которой к смерти выйти не грешно.

С годами обмельчала тишина. И ты, всё глубже погружаясь в слово, Осознаёшь, что речь всего одна И у неё нет образа иного, Чем Бог. Так у воды нет дна— Есть дно реки, есть у слезы щека, И в них вода бессмертна и бездонна. Ты думал, что на разных языках С ней говоришь, но вот язык исконно Так света луч впотьмах— Есть темь колодца, есть ночная тьма, И это свет, и не отречь от света Глагола, коим тьма изречена. Ты слышать стал, как говорит об этом

По жжёному хлебу земли, По каждой мочёной корке Мы зиму сжигать вели На мартовские задворки И с радостью неуёмной Прощались с постылой стужей, Как будто была никчёмной. Снег таял на скатах крыши, На вётлах грачи кричали. На зиму смерть стала ближе, Но это весне прощали.

С годами истончилась тишина.

Она сама.

Мы с ней сидели в парке у пруда, Глядя, как осень тает листопадом. Кружился лист и на колени падал, Вдали отца мелькала борода За старенькой кладбищенской оградой. Молчали, на двоих делили хлеб— Мы с ней всегда всё пополам делили. На кладбище сегодня хоронили, Покойник шёл со всеми наравне К своей недавно вырытой могиле И увязал, как все, в сырой земле, Понять, что уже мёртв, ещё не в силе.

Не досталось руке топора, Вот и просишься на постой К тем, кто встретится. До утра Под разверзнутой пустотой Слушать ветер с того холма, Где по имени помнят всех. А в небесном ковше зима Да луны истончённый серп. Но повинную им не ссечь, Даже если есть в том нужда. И куда-то душе прилечь, Окромя разве в никуда.